

Томас Манн

**Собрание сочинений в десяти
ТОМАХ**

Том V

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М23

Манн Т.
М23 Собрание сочинений в десяти томах: Том V / Томас Манн – М.: Книга по Требованию, 2021. – 690 с.

ISBN 978-5-458-45878-8

Настоящее издание представляет собой собрание сочинений известного немецкого писателя-прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–1955). В собрание входят все известные произведения автора за исключением романа «Иосиф и его братья».

ISBN 978-5-458-45878-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

I

Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее будущий читатель, ибо в настоящее время нечего и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной «крепости Европы» и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества... Но лучше начну сначала: только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Леверкюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе — не без боязни, конечно, вселить в читателя сомнение, в надежные ли руки он попал. Иными словами, посильна ли человеку моего склада эта задача, задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства.

Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая аппо 1943, через два года после

смерти Леверкюна (вернее, через два года, после того как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную), собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрейзинге на Изаре, к жизнеописанию моего с миром почившего — о, если бы с миром! — несчастного друга. Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к общительности печальнейшим образом парализуется страхом сказать нечто нескромное, не подлежащее огласке.

Я человек уравновешенный, по натуре здоровый, так сказать, не склонный к эксцессам, словом, приверженный гармонии и разуму. По роду занятий я ученый, *conjuratus*¹ «латинского воинства», не вовсе чуждый искусству (играю на *viola d'amore*). Но отношения мои с музами носят, скорее, академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи «Писем темных людей», Рейхлина, Крота из Дорнгейма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияния на человеческую жизнь, я всегда чурался, инстинктивно его избегал, не чувствуя ни малейшей склонности отважно спуститься к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судеб они порой искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских; так, я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность, или, если угодно, ограниченность моей нравственной сущности, тем более заставляет меня сомневаться, по плечу ли мне тот урок, который я себе задал?

Не успел я взяться за перо, как с него уже сбегало слово, втайне смутившее меня, слово: «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверх-

¹ Присягнувший на верность (лат.).

мерное, все же обладает благородным, гармоническим и здраво-человеческим звучанием, и поскольку я, обыкновенный человек, и в мыслях не имею считать себя причастным к этим выпреним сферам или исполненным *divinis influxibus ex alto*¹, то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно присутствует демоническое начало, противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством и наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить: «благородный», «гармонический», — не совсем подходящие эпитеты, даже когда — с болью решаюсь я на такое разграничение — речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которую господь бог благословил (или покарал?) человека, а не о гениальности губительной и порочной, о грешном, патологическом сжигании природных способностей, о мерзостном выполнении богопротивной сделки...

Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил артистическую промашку. Сам Адриан уж конечно бы не потерпел, чтобы, ну, скажем, в симфонии, так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека. Впрочем, возможно: то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек, и только я один в этом усматриваю непростительную нескромность, грубое недержание речи. Человеку моего склада кажется трудным, даже недостойным подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу, с рассудочно-игривой расчетливостью komponующего художника. Поэтому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением, различии, которое я отметил лишь затем, чтобы тут

¹ Божественным вдохновением (лат.).

же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что временами, к ужасу моему, мне начинало казаться, будто меня самого выносит за пределы предуказанной мне ограниченной сферы и что я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей...

Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком, с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве. Либретто для задорной юношеской оперы Левверкюна по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написано мною, да и текст к гротескной оперной сюите «Gesta Romapogum»¹ и к оратории «Откровение св. Иоанна Богослова» составлен с моей помощью и отчасти по моему почину. Вдобавок я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а не кому другому, завещал еще в добром здравии или, вернее, в юридически неоспоримом, относительно добром здравии; на эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед богом, было и осталось то, что я любил его — с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом, при этом нимало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь.

О нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его трезво-дружелюбном

¹ «Деяния римлян» (лат.).

ко мне отношении, я почти готов сказать: о милостивой и для меня несомненно почетной вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить? Кого же любил этот человек? В свое время женщину, пожалуй. В конце жизни ребенка. И еще, быть может, обаятельного вертопраха, которого он, не потому ли что к нему привязался, прогнал от себя. И прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце, кому дал доступ в свою жизнь? Этого с ним не случилось. • Беззаветную преданность Адриан принимал, — я в этом убежден, — подчас вовсе ее не замечая. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится, и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляет думать, что он просто не знал его имени, хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила *стужа*, и как тяжело стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его, и в какой страшной связи! Жизнь и постижение ее наделяют отдельные вокабулы оттенком, вовсе чуждым их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении.

II

Я зовусь Серенус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать это раньше. Возраст мой — шестьдесят лет, ибо я родился в 1883 году (первым из четырех детей у моих отца и матери) в Кайзерсашерне на Заале, в округе Мерзебург; там провел свои школьные годы и Леверкюн, посему я воздержусь от описания нашего городка до той страницы, когда начну о них расска-

зывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед, а в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце.

Здесь замечу только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, так сказать, к полуинтеллигенции. Отец мой, Вольгемут Цейтблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзерсашерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как цейтбломовская аптека «Благие посланцы», и с трудом выдерживало конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзерсашерна, моя мать была набожною прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно за недосугом, относился к ним спустя рукава, хотя всегда и во всем поддерживал своих единомыслителей, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение. Примечательно, что у нас в гостиной, помещавшейся над лабораторией и аптекой, частенько сживал не только наш духовник, церковный советник Цвиллинг, но и городской раввин, доктор Карлебах — гость, навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешне представитель римской церкви был куда более привлекателен. Но у меня осталось впечатление, вероятно основанное на словах отца, что низкорослый и длиннородый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и острою религиозной мысли значительно превосходил своего коллегу-иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Леверкюна и побудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его палачами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и с совсем другими представителями этого племени, — взять, к примеру, хотя бы культурфилософа Брейзахера из

Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не премину сказать в свое время.

Что касается моей принадлежности к римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени определила мое сознание, хотя колорит католической культуры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью к прекрасному, как говорили в старину, к прекрасному в искусстве и в жизни. Оба эти элемента отлично во мне уживались, что, впрочем, не удивительно, ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзерсасерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Эйсleben, Виттенберг, Кведлинбург, Гримма, Вольфенбюттель и Эйзенах, что, в свою очередь, проливает свет на внутреннюю жизнь лютеранина Леверкюна и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь средневековья, пожалуй в еще бóльшую глубь, сравнительно с не затронутой расколом христианско-католической традицией светлой любви к просвещению. Во всяком случае, я чувствую себя как дома в той золотой сфере, где пресвятую богородицу зовут «*Jovis alma parens*»¹.

Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей *vita*², замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где, двумя классами младше, учился и Адриан. Она была основана во второй половине пятнадцатого века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его чрезмерной историчностью и, для современного уха, несколько смешным звучанием; теперь она по имени

¹ Мать-кормилица Юпитера (*лат.*).

² Жизни (*лат.*).

соседней церкви зовется гимназией св. Бонифация. Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, к которым чувствовал влечение еще на школьной скамье и которыми последовательно занимался в Гисенском, Иенском и Лейпцигском университетах, а с 1904 года по 1905 год, не случайно, еще и в Галле, где тогда учился Адриан Леверкюн.

Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней, почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческого, — связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманистами, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания, призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественно-историческими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени, как любитель изящной словесности. Да и язык звуков (если позволительно так именовать музыку), быть может, более проникновенный, но странно нечленораздельный, не кажется мне относящимся к педагогически-гуманной сфере, хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А то, что я, вопреки сказанному, всем сердцем ей предан, — одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человека.

Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй что и нет: ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически-благородным миром духа и этим миром духов, имеет прямое, — увы! — даже слишком прямое отношение к этим моим

записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, достойнейшая, которая была бы вовсе недоступна влиянию темных сил, более того, которая не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними? Мысль эта, не вовсе чуждая и человеку, по своему душевному складу отнюдь не тяготеющему к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полугодового путешествия по Италии и Греции, которое мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на Священную дорогу, по которой проходили участники мистерий с шафрановой повязкой на лбу и с именем Иакха на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинства близ Эмбулея на краю Плутонова ущелья, под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин. Впоследствии я не раз говорил с кафедры своим ученикам из выпускного класса, что истинная культура — это религиозно-гармонизирующее, я бы даже сказал примиряющее, приобщение темных сил к культуре богов-олимпийцев.

По возвращении двадцатипятилетней путешественник получил должность в гимназии своего родного города — иными словами, в той самой школе, которая дала ему первые зачатки знаний. Я преподавал там в младших классах латынь, греческий, а также историю, но уже в 1914 году поступил на баварскую службу и обосновался во Фрейзинге, ставшем с тех пор моим постоянным местом жительства, в качестве учителя гимназии и доцента богословской академии, чтобы в продолжение двух десятилетий с удовлетворением трудиться на поприще истории и филологии.

Несмотря на свой юный возраст, едва определившись на должность в Кайзерсашерне, я женился. Любовь к порядку и желание честно, по-хорошему начать самостоятельную жизнь подвигли меня на этот шаг. Елена, урожденная Ойльгафен, моя дорогая жена, которая и сейчас обо мне печется, была

дочерью моего старшего коллеги, по должности и по факультету, из Цвиккау в Саксонском королевстве, и, не боясь вызвать усмешку читателя, я признаюсь, что имя милой свеженькой девушки — Елена, это любезное мне звукосочетание, сыграло не последнюю роль в моем выборе. Елена! Трудно устоять перед освященной преданием прелестью этого имени, даже если внешность той, что зовется Еленой, лишь по-бюргерски скромно отвечает его высоким запросам — да и то лишь на краткий срок, покуда не поблекло ее юное цветение. Нашу дочь, давно уже вышедшую замуж за отличного человека, прокуриста в Регенбургском филиале Баварского кредитного банка, мы тоже назвали Еленой. Кроме нее, моя дорогая жена подарила мне еще двух сыновей, так что я, как то и подобает смертному, познал радости и горести отцовства, впрочем, не слишком бурные. Должен признаться, что в моих детях не было ничего из ряда вопиющего. Ни в какое сравнение с чудно красивым мальчиком Непомуком Шнейдевейном, племянником Адриана и утехой его последних лет, они, конечно, идти не могли, я первый готов это утверждать. В настоящее время оба моих сына — один на гражданском поприще, другой в вооруженных силах империи — служат своему фюреру, и так как мое критическое отношение к власти имущим моего отечества создало вокруг меня своего рода пустоту, то и связь обоих молодых людей с отчим домом заметно ослабела.

III

Леверкюны были родом искусных ремесленников и зажиточных земледельцев, процветавшим в Шмалькальденском округе да еще в Саксонской провинции на берегах Заале. Прямые предки Адриана на протяжении многих поколений владели фольварком Бюхель в приходе Обервейлер, неподалеку от железнодорожной станции Вейсенфельз, — всего в сорока пяти минутах езды от Кайзерсашерна, — от которой дальше приходилось добираться уже на лошадях. Хо-